

Я читаю у Толстого 17 марта 1910 года такую простую запись, что не знаю, с кем ею и поделиться: “Дали человеку то, лучше чего он ничего не может себе представить. А он говорит: нехорошо, мало. Дали бабе холст – говорит: толст; дали потоне – говорит: дай боле. Да если бы тебя, болван, не разбудили, ты бы всё спал и ничего бы не знал и не видал всё то, что теперь знаешь и видишь”.

Дали нам жизнь, разбудили, а нам всё “холст толст”. Всё нехорошо, всё мало – кому свободы мало, кому деспотии. Вот Лев Николаевич и не сдержался – болван, – говорит! Да так нам и надо.

И разом вспоминаю, как попалась мне недавно книга умного, модного (как это нынче? – “брендового”) писателя Ф. Бегбедера “Я верую – я тоже нет”, и я завёлся уже самим именем книги. Вот, думаю, – пижон, – какую ловушку читателю расставил. А уж когда разогнул прямо на случайной странице, как при гадании – что попадетя, – и вовсе *разозлился* (простите за детский глагол).

Вот послушайте: “Не будем говорить о глобализации, об отмене границ (понятия отечества, по сути, уже не существует), об унификации мира, о крахе коммунистической утопии... Всё это очень важно: крушение идеологий, религий, утопий. Но нет больше Бога, нет больше надежды на равенство между людьми, остаётся только потребление”.

Когда бы это была обычная самонадеянность атеиста, и возражать бы не стоило. Но Бегбедер знает, что такое Церковь. Он мальчиком вырос в вере, и собеседник его в книге – не интеллектуальный коллега, не чужой сердцу человек, а его духовный отец (католический епископ Жан-Мишель ди Фалько). И вот на тебе, не побледнев, – нет Бога, нет отечества, нет надежды на равенство...

Да вроде и действительно – какое равенство? Как написано в одной из нынешних книжек соискателей премии “Ясная Поляна”: “Грянула свобода, и умные люди быстроенько стали ставить высокие заборы, крепкие ворота и кодовые замки – в общем, стали крепче запирают двери” – от этого самого “равенства” и загородились. Мы прикончили надежду на равенство с какой-то мстительной изобретательностью, чтобы уж ни у кого и сомнений не оставалось. И автор не зря отчётливо связывает крах коммунистической утопии с крушением религий. Они подлинно были неотъединимо связаны.

Мы хотели, хотели равенства! Только поставили его на место Бога и тем и приговорили. Без Него уж какое равенство – кто успел, то и смел. И в результате остались с таким свободным Бегбедером: ни Бога, ни равенства – одно потребление. Только он-то ещё, кажется, смущается, и не хочет победы своего “открытия”, и книгу пишет потому, что надеется на братское опровержение, на то, что кто-то вернёт ему детскую простоту и Бога: брось, старик, ты что, серьезно?

А мы всё “не наедемся” никак. Слишком нагуляли аппетит, пока за равенством бежали.

Так что оценивающий книгу Бегбедера в “Exlibrise” Ян Шенкман, как это ни печально, про нас говорит: что мы “вынужденные христиане” (а Лев Николаевич и еще лучше определял — “православные из приличия” — вот это уж сегодня подлинно про нас), как азербайджанцы и киргизы — вынужденные мусульмане, а буряты — вынужденные буддисты. Разве что не “вынужденные”, а невольные. География и история сделали за нас выбор, во что верить, а душа и не пыталась спрашивать — приняла готовое. И мы уже и с верой обходимся вполне потребительски, в профилактических целях: с непременным крещением (а вдруг? Мало ли?), с картинным венчанием под видеокамеру, с освящением офисов и шестисотых “колесниц”. Отчего бы иногда от сытости и не побить “бедняках Христа”? Отец Сергей Булгаков вон ещё когда, и при более печальных обстоятельствах, уже увидел исток нынешнего недуга: “ищут нового барина, чтобы устроиться по-старому”.

“Барин” у нас виден хорошо: руководители страны на Пасху в храме стоят — чего ещё? — давай устраивайся по-старому. Но ведь Бегбедер не о видимости говорит. Он и сам, по воскресеньям в храм ходит. Нет, тут задето нечто более болезненное, что в начале XX века беспокоило участников наших первых религиозно-философских обществ, мучило С. Н. Дурылина, который, уходя в 20-е годы из священства, говорил о “подтаивании христианства”. Что тревожило протоиерея Александра Шмемана в конце XX века и больно задает искренние умы сегодня, так уж, коли не кривить душой, формула “Я верую — я тоже нет” известна в определённой степени в разный час каждому честному христианскому сердцу. И если что и злит (еще раз простите за детский глагол!), то не сама формула, а таящаяся в ней и жадно принимаемая нами лукавая готовность красиво сдаться, потакание себе, выговаривание себе “права” не верить. Чего напрягаться-то, если нас, этих “тоже нет”, так много?

Только мать-Церковь и не обещала даровых плодов. И с самого начала говорила, что “Царствие Божие силою нудится”, и не страшилась слова “нудится”, которое так плохо сочетается со светом “Царствия Божия”. Но и это Бегбедер знает не хуже нас, потому что рос с Евангелием и под духовным доглядом.

Так чего же я хочу, к чему подступаюсь? А к тому, что я, может быть, ещё с месяц, да даже и неделю назад не стал бы братья за перо и опровергать горько правого писателя, а тянул да тянул бы свою ляжку, “нудил” Царствие Небесное в своём приходском храме, как многие из нас. Не обманывая себя, но и не теряя надежды, как делают искусственное дыхание недавно вытасченному утопающему (а нас всех недавно вытащили): вдруг при очередном усилении дыхание и схватится. . .

С неделю назад не стал бы писать. А вот теперь отваживаюсь, потому что нечаянно пережил чувство, которым как-то и грех не поделиться.

Гостил с друзьями у своего товарища под Изборском. Было воскресенье. И хоть встал до литургии и мог бы поспеть на службу к изборскому Николе, но неудобно было перед спящими — не предупредил. Встанут, а меня нет — и свяжу им день. И пошёл себе потихоньку по росной сверкающей траве в солнечных утренних яхонтах, изумрудах и хризопразах за деревню на давно облюбованный холм за Городищенским озером, напротив крепости, откуда летом любят пускаться в полёт парапланеристы.

Солнышко разыгралось всюю, паутины сверкали, даже стрекозки нет-нет прочёркивали синеву. Из Малов, от Печорского скита уже звонили к “Достойно” (там служат пораньше). А я потихоньку карабкался да карабкался вверх, измочив ботинки росой, и читал вслух утреннее правило, будто немного оправдываясь перед Богом, что не в храме, но вот, слышишь, Господи, молюсь. А назад, на Изборск нарочно не поворачивался, чтобы уж с вершины всё сразу увидеть. И как наверху чуть унял сердце и повернулся, так и вспомнил, как часто в минуты восторга перед красотой вырывалось из сердца прямо сразу с пением — так летела душа: “О-о-отче на-аш. . .” И так ликующе выговаривалось: “Да святится имя Твое”, потому что в эти минуты красота и желанность этого Царствия были так очевидны.

А тут я как раз в утреннем правиле к “Верую” подошёл. И остановился — так оно само собой пошло говорить, словно и не читалось, а вот тут прямо и рождалось, называя видимое сейчас сердцем.

... Во единого Бога Отца Вседержителя. Творца небу и земли...

Творца вот этого синего высокого неба в весёлых воробьях и этой золотой осенней земли в дальних холмах, в седых от росы полях, в уже задеваемых желтизной лесах, которые ведь взялись же откуда-то “среди миров, в мерцании светил” в страшной своей красоте. Творца крепости, раскинувшейся отсюда так вольно, и игрушечной Корсунской часовни, и угадывающихся за озером Словенских ключей, потому что и они как будто сразу от века таинственно содержались в этом “Верую”...

Во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия... рожденна, несотворенна, единосущна Отцу...

Подлинно Сына – такого же небесно всеобъемлющего, счастливо утреннего, подлинно предвечного и единосущного и тоже всегда и сейчас таинственно и явственно всегда содержащегося в этих небесах, полях, диких яблонях, в речке Сходнице, сияющей зеркальцем в тяжёлой оправе камышей.

Как же точны были Святые Отцы первого Вселенского Собора там, в Никее, на берегу тишайшего из озёр, когда складывали слово по слову, день за днём полтора столетия этот “Символ”, лепили его чутким слухом из своих вод и небес, из своей веры и молитвы, высокого эллинизма, горячих споров и прямых противостоятелей. Вот где слову возвращалось его небесное значение, его райское имя и Адамова глубина.

... И вочеловечшася...

Тянулась от Труворова креста по склону холма разноцветная цепочка ранних экскурсантов – будто бельё на верёвочке под лёгким ветром. Значит, и в них, вон там, и в меня здесь “вочеловечшася”? Из непостижимой высоты, из того, что **до** и **вне** истории, из неподвластной уму вечности и величия – в самую бедную малость для спасения этой малости. Из Создателя всего – в меня в мокрых ботинках и в то “бельё на верёвочке”. Это было так близко, так горячо, страшно, радостно, тайно и совершенно ясно, что, казалось, и умереть сейчас было бы весело и просто.

... Распятого же за ны... и воскресшего в третий день...

Да, да, вот, наверное, почему я увидел это утро в увеличительное стекло, словно оно было первое. Это было утро Воскресения! Простого сегодняшнего календарного воскресенья и на минуту проступившего в нём того – единственного – “в третий день по Писанием”. Как будто природа вскрикнула и засмеялась над смертью, и я нечаянно услышал этот радостный смех и за вседневной красотой осеннего утра увидел свет всеобщего Воскресения. И понял, что же это значит – “исповедую едино крещение во оставление грехов”.

Ничто не загородит от безумия мира, от безнадёжности и торжества потребления, кроме этого непостижимого оружия – единого крещения в живой воде длящегося Творения.

Устанешь, сто раз будешь отчаиваться и стоять на пороге неверия, тысячу раз уступишь соблазнам века и искушениям ставшего религией потребления, но если при этом не поддашься змеиному шёпоту хотя бы и всеобщего “я верую – я тоже нет”, то непременно увидишь однажды это спасительное, укрепляющее, навек отменяющее сомнения детское утро Воскресения.

И я, почти торопясь, боясь расплескать сердце, заспешил к “амину”. Но я думаю, что, если бы и не договорил “Символа” до “жизни будущего века”, да и вообще умолк после первого пробуждающего толчка, утро простило бы меня. Потому что оно уже воскресло во мне и для меня и, может быть (Господи, прости!), благодаря мне, этой моей и для меня самого неожиданной готовности принять и увидеть родной, привычный, насквозь известный мир в мгновенном свете будущего века.

Прав, прав Лев Николаевич, “дали человеку то, лучше чего” нельзя “представить”, разбудили... И какое уж “мало” – это бы вместить.

... Туристы тянулись от Городища за весело бегущей впереди собачкой, словно она вела их всех на этой цветной верёвочке, кружились над озером утки, ища места поукромнее, день разгорался. Уже из чьего-то окна хватил бодрый “Маяк”. Век готовился диктовать Бекбедеру новые скептические страницы, но мне уже не хотелось соглашаться с ним даже и в очевидном.

Всё правда, да не всё Истина.

Верую, Господи, помоги моему неверию.